

12+

Арина Лорель

ЧЕЛОВЕК- ПОГРЕМУШКА

Арина Лорель

Человек-погремушка

«Издательские решения»

Лорель А.

Человек-погремушка / А. Лорель — «Издательские решения»,

Затишье — странный посёлок, где каждое утро начинается с оглушительного грохота. Это просыпается Громыхайло — двухметровый неуклюжий мужчина с даром падать так, что дрожат стёкла. Его падения — не просто неловкость. Это его голос, его способ быть замеченным, его единственный язык, на котором он говорит с миром. Для кого: для тех, кто любит истории со странными героями, тёплым юмором и неожиданной глубиной.

© Лорель А.

© Издательские решения

Содержание

Человек-погремушка	6
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Человек-погремушка

Арина Лорель

© Арина Лорель, 2026

ISBN 978-5-0070-7126-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Человек-погремушка

Глава 1. Ноль целых одна десятая

Утро Громыхайло всегда напоминало небольшую стихийную катастрофу местного масштаба — настолько же предсказуемую, насколько и разрушительную.

Стартовый пистолет давал глухой шлепок: подушка, не выдержав борьбы с его беспокойным сном, совершала полёт к полу. Вторым актом следовал звонкий, но не фатальный «дзынь»: левый локоть, словно натренированный снаряд, сносил кружку с прикроватной тумбочки. Третьим действием, финальным и самым зрелищным, всегда шло «БУМ-БАХ-ТЯСЬ-КУВЫРК»: одеяло, сговорившись с гравитацией, опутывало его ноги, и Громыхайло, подобно подбитому дирижаблю, сползал с кровати, чтобы приземлиться на заранее приготовленную стопку трёхгодичных газет. Он держал её специально — для амортизации.

После этого по посёлку Затишье прокатывался коллективный выдох облегчения. Бабка Марфа на лавочке крестилась и шептала: «Слава богу, Громыхайло жив, стало быть, и порядок на месте». Соседи по привычке сверяли с его утренним грохотом свои механические будильники, которые вечно отставали. Дворовые коты, наученные горьким опытом, выползали из-под кроватей только спустя пять минут после затишья. А старуха Тарахтелка, чья тележка с утра пораньше издавала душераздирающий скрежет, заводила её ровно в семь ноль-ноль — она точно знала: если Громыхайло уже прогремел, значит, день вступил в свои права и можно не бояться.

Но сегодня в половине седьмого утра в доме №7 по улице Кривой стояла звенящая, неестественная, почти оскорбительная тишина. Было так тихо, что Громыхайло сквозь сон слышал, как сосед Дрыщ, известный ипохондрик, с сопением сморкается в подушку на втором этаже. Обычно у Дрыща получалось громче, и по утрам он всегда подвывал — такова была их негласная утренняя симфония.

Громыхайло приоткрыл сначала один глаз — мутный, заспанный. Потом второй — настороженный, как у кота, который чувствует опасность. Он прислушался к себе: к позвоночнику, к суставам, к внутреннему ощущению бытия. В груди было подозрительно пусто. Ничего не болело. Нигде не звенело. Простыня не сбилась в тугие жгуты под спиной, подушка по-прежнему лежала под затылком, а не валялась в углу, где ей обычно полагалось быть.

— Я умер? — спросил он у потолка, по которому карта мира из паутины и трещин рассказывала историю его лени.

Потолок гордо промолчал, но не рухнул на голову. А ведь в прошлый вторник он именно рухнул, поддавшись вибрации от его падения, и оставил на лбу Громыхайло шишку размером с куриное яйцо.

Громыхайло осторожно, почти с опаской, приподнялся на локте. Кровать под ним жалобно, но очень вежливо скрипнула — едва слышно, будто извиняясь. Он сел. Деревянный пол под босыми ногами не прогнулся, не скрипнул предательски, не попытался подставить подножку.

— Проверка номер один, — пробормотал он севшим голосом.

Он нашарил ногой тапок. Это был не тот красный, с дырой на мизинце, который он потерял ещё в прошлом месяце, а его запасной — синий, обычно прячущийся под шкафом в гордом одиночестве. Синий тапок был на месте, будто его специально положили. Громыхайло встал, широко расставив ноги для устойчивости, готовый к привычной встряске... но ничего не упало. Ни кружка, которую он машинально задел бедром. Ни стопка книг на краю стола, дрожавшая от его дыхания. Даже старая кожаная куртка на гвозде у входа не соскользнула, когда он прошёл мимо, задев плечом дверной косяк.

Он замер. Рост под два метра, костистый, неловкий, волосы торчат во все стороны, как мокрая солома. Он привык занимать пространство так, чтобы оно отвечало ему эхом, привык сметать всё на своём пути, словно его тело жило по законам хаоса. А сегодня комната стояла нетронутой — девственно чистая, как музейный экспонат под стеклом.

— Провокация, — сделал он вывод и нахмурился. — Чистая провокация.

Он специально, с размаху, провёл локтем по зеркальному шкафу — с силой, которой обычно хватило бы, чтобы снести с полок бабушкины сервизы. Зеркало качнулось на петлях, закрипело, но устояло. Только его собственное отражение скривилось в ответ в удивлённой, почти испуганной гримасе.

Громыхайло уставился на отражение. На левой щеке алела вчерашняя царапина от ветки, на майке темнело пятно от вишнёвого варенья — он опрокинул банку, когда пытался достать хлеб. В остальном это был он, узнаваемый до боли: картофельный нос, который он разбил в детстве о лестницу, глаза — большие, влажные, как у встревоженного лесного кота, рот открыт в вечном изумлении, словно он собирался спросить что-то важное, но в последний момент забывал что именно.

— Ты, — обратился он к отражению суровым шёпотом, — ты случаем не научился ходить прямо, а?

Отражение лишь безмолвно повторило его движения, но Громыхайло заподозрил в нём неладное. Он всегда знал, что отражения — скользкие типы.

Тогда он решил пойти ва-банк, разбудить эту сонную тишину. Он подошёл к столу, где стояла его любимая кружка — керамическая, с отбитым краем, с трещиной на дне, выжженная надписью «Старый друг». Эта кружка была его ритуалом. Каждое утро он неизменно ронял её, и она падала с весёлым, залихватским звоном, подпрыгивая на деревянном полу, но никогда не разбивалась — лишь обрастала новыми благородными трещинами, как старый вояка шрамами.

Сегодня Громыхайло взял кружку дрожащей рукой, поднял над головой, прищурился, приготовился к падению... и замер.

— Я не буду её ронять, — сказал он громко, словно давал клятву. — Я просто поставлю её обратно. Слышишь? На место.

Он поставил кружку. Она встала ровно, как новобранец на плацу, даже не качнулась.

— Ах ты ж, — выдохнул он с надрывом. — Да вы все надо мной издеваетесь!

В отчаянии он шагнул назад и наступил на собственный ботинок, который всегда, с самого детства, валялся у кровати в ожидании, чтобы о него споткнулись. И... удержал равновесие. Даже не покачнулся. Ноги, привыкшие к бесконечным танцам с гравитацией, сегодня вели себя так, словно вчера тайком окончили балетную школу и сдали экзамен на отлично.

В груди разрасталась холодная, липкая пустота. Такая же пустота бывает, когда в доме внезапно выключают электричество — и пропадает тот привычный, уютный гул холодильника. Он всегда думал, что его неуклюжесть — это просто проклятие, недостаток, неловкость. Но сейчас, когда её не стало, он с ужасом понял: это был его голос. Это была его подпись в книге жизни. Его способ заявлять миру: «Я здесь!»

— Я должен уронить хоть что-нибудь, — прошептал он, и голос его сорвался. — Иначе я перестаю быть собой. Я просто... пустое место.

Он зажмурился, глубоко вдохнул, собрал всю волю в кулак, размахнулся для какого-то неведомого действия... и громко чихнул.

От сотрясения воздуха с верхней полки слетела книга. Толстенный, пыльный том под названием «Трактат о шуме и его губительном влиянии на нервную систему домашней птицы» — он купил её на барахолке исключительно из-за названия, которое его рассмешило до слёз. Книга шлёпнулась на пол глухо, мягко, почти невесомо. Даже не раскрылась.

Громыхайло с грохотом упал на колени, схватил книгу обеими руками и прижал к груди, как утопающий спасательный круг.

— Ты упала! — заорал он не своим голосом. — Ты настоящая! Ты — моя!

На его глазах выступили слёзы — редкие, скупые, солёные, настоящие мужские слёзы, которые он не проливал с тех пор, как в детстве уронил в лужу мороженое. Он судорожно перевернул книгу: ни одного надрыва, ни одной оторванной страницы, ни одного загнутого угла. Она лежала целёхонькая, будто её не уронили, а аккуратно положили на пол.

— Не считается! — выкрикнул он севшим, хриплым голосом. — Ты должна была разлететься на три части! Задеть лампу на тумбочке, лампа должна была упасть на утюг, утюг — сорваться и приземлиться коту на хвост, кот — взвизгнуть и вцепиться мне в ногу! А ты просто... шлёпнулась. Как лист бумаги.

Он сел прямо на пол, обхватив голову длинными, костлявыми руками. Колени подборка касались. Ему было сорок три года, а он сидел на холодном полу и чувствовал себя ребёнком, у которого отняли любимую игрушку.

Вокруг было слишком чисто. Слишком стерильно. Слишком упорядоченно. Даже пыль, которая по утрам обычно плясала в солнечных лучах, поднятая его вчерашним топотом, осела и присмирела, словно испугавшись. Солнечный луч пробивался сквозь занавеску ровной, аккуратной жёлтой лентой — как в больничной палате, где каждый предмет находится на своём месте.

Громыхайло с трудом поднялся, чувствуя, как немеют ноги, и подошёл к окну. На улице — обычное, скучное, идеальное утро. Дрыщ, которого он привык видеть вечно ноющим и сгорбленным, поливал свои петунии из леечки, но делал это с лёгкой улыбкой и напевал бра-вурный мотивчик из старой оперетты. Бабка Тарахтелка катила свою скрипучую тележку по тротуару, и та издавала не привычный «дрыннь-лязг-дррр», который будил даже собак, а тон-кое, почти музыкальное поскрипывание, будто её смазали не вчерашней касторкой, а дорогим швейцарским маслом.

Громыхайло отпрянул от окна, будто увидел привидение.

— Это конец, — прошептал он побелевшими губами. — Они превратили мой хаос в идеальный порядок. Это заговор. Я знал, что это случится.

Он лихорадочно искал объяснение. Может быть, он всё ещё спит? Он ушибнул себя за внутреннюю сторону бедра, да так сильно, что на глазах выступили слёзы. Боль была настоя-щей, до тошноты. Нет. Не спит. Может, он оглох от контузии? Но за окном настойчиво чирикал нахальный воробей, распушив перья, и этот чирикающий звук был страшнее всего, потому что воробьёв по утрам всегда распугивал его утренний грохот. Воробьи боялись его. Все боялись. А теперь даже они сидели на заборе и беззаботно щебетали.

— Колдовство, — вынес он сухой, твёрдый вердикт. — Чистое колдовство. Шкодница. Это её рук дело. Кто ещё, скажите на милость, способен украсть у человека его единственный, неповторимый, выстраданный талант?

Он попытался собрать воедино события вчерашнего дня. Вчера он, по обыкновению, упал в колодец на краю посёлка. Он принял его за огромную лужу, а оказалась тёмная, глубо-кая дыра. Тогда, сидя на дне в ледяной воде и разглядывая кусочек неба над головой, он услы-шал голос Шкодницы. Она спустила ему верёвку, вытащила, потряхнула и, глядя на него с той странной, полупечальной усмешкой, сказала: «Знаешь, Громыхайло, у тебя дар. Если бы ты падал чуть меньше, мир бы тебя заметил. А так... ты слишком громкий, чтобы его волновать».

Он тогда не придавал значения. Принял за обычную язвительность. Шкодница была масте-рицей на колкие словечки.

А теперь мир его заметил. Слишком заметил. Мир замер, затаил дыхание и уставился на него с выжидающей тишиной. Мир сделал его видимым, стерев его фирменный знак — шум.

Он перестал быть невидимым источником катастрофы. Он стал просто большим, неук-ложим, молчаливым и... обычным человеком. Это было самое страшное унижение.

Громыхайло с вызовом подошёл к двери, взялся за старую латунную ручку — и она, вопреки всем ожиданиям, не осталась у него в руке, как в позапрошлую среду, когда он вырвал её вместе с куском дверного полотна. Дверь открылась плавно, бесшумно, как в богатых гос-подских домах, где на петлях не экономят.

— Ну уж нет! — сказал он, и голос его обрёл былую, хоть и подрагивающую, твёрдость. — Это я так не оставлю. Я верну всё, как было. Слышишь, мир? Верну!

Он шагнул на ветхое крыльцо, споткнулся о высокий порог, который всегда служил ему надёжным препятствием, и... по инерции сделал два широких шага вперёд, лишь слегка коснувшись рукой перил. Не упал. Даже не покачнулся. Перила, которые он обычно вырывал из пазов одним движением, сегодня выдержали, даже не скрипнули.

Громыхайло замер, глядя на свои руки. Они дрожали мелкой, нервной дрожью — но не от слабости. От отчаяния, которое разъедало его изнутри.

— Если я не могу падать сам, — прошептал он одними губами, чувствуя, как к горлу подступает ком, — пусть весь мир падает вместе со мной. Пусть. Я заставлю его.

И он зашагал по улице. Прямо. Ровно. Без обычной своей вразвалочки, без привычки цепляться за заборы. Он не наступил в лужу (хотя специально выбирал самые глубокие), не задел плечом ворота соседского дома, не сбил шапку с почтальона. Шаги его были тяжёлыми, твёрдыми, как у солдата, чеканящего шаг. Это было самое противоестественное, самое жуткое зрелище, которое когда-либо видело Затишье за всю его столетнюю историю.

Соседи в ужасе выглядывали из окон. Кто-то мелко крестился дрожащей рукой. Кто-то торопливо набирал номер Шкодницы, но она, как назло, не брала трубку — в эфире звучали лишь длинные, пустые гудки.

А Громыхайло шёл. Шёл, не сбавляя шага. Он должен найти её. Он должен умолять, требовать, просить — вернуть ему его проклятие, его право на падение, его грохот, его единственную, такую родную правду.

Потому что в мире, где он больше не падает, он перестаёт быть собой.

А быть собой — это единственное, что он умел по-настоящему. Единственное, что не давало ему исчезнуть в этой тишине.

****Глава 2. Люди-стекловаты****

Громыхайло перешагнул через калитку — и замер, ожидая привычного протеста старого железа. Но калитка не взвизгнула, не заскрежетала петлями, не зацепилась за ведро с цементом, которое он неделю назад поставил для укрепления столба. Она просто закрылась за его спиной с тихим, почти ласковым щелчком — как дверца дорогого немецкого холодильника.

Он медленно обернулся. Калитка стояла ровно, на своих петлях, даже не перекосилась. Она выглядела... довольной. Самодовольной. Будто говорила: «Видишь, я могу быть приличной, просто ты не умел со мной обращаться».

— И ты с ними, — прошипел Громыхайло, ткнув в неё пальцем. — Предательница.

Он двинулся по улице, сжимая кулаки, ожидая подвоха. Но подвоха не было. Мусор, разбросанный вчерашним ветром, лежал смирно, не шуршал под ногами, не цеплялся за ботинки. Луки, которые обычно хлюпали и чавкали с аппетитом, завидев его, сегодня вели себя как культурные луки: просто принимали его ступню и отпускали без единого звука, даже не пытаясь засосать. Пыль не поднималась столбом, а оседала покорно, словно её придавили невидимой ладонью.

— Сон, — сказал он громко, отчаянно, в пустоту. — Я сейчас проснусь, стукнусь головой о притолоку — и всё встанет на свои места. И чашка полетит, и кот заорет, и Дрыщ заревёт. Это проверенный сценарий.

Он с размаху стукнул себя кулаком по лбу, так что искры из глаз посыпались. Лоб взвыл болью, но в ответ не раздалось ни звонкого падения кружки с тумбочки, ни сдавленного мата за стеной. Только тишина, густая, как кисель. Он стоял посреди дороги, растирая наливающуюся шишку, и чувствовал себя обворованным. Словно из его кармана вытащили самое ценное — не кошелёк, а его собственную суть.

Из-за поворота, как из тумана, показался Дрыщ.

Дрыщ — его лучший друг, если под словом «друг» подразумевать человека, с которым вместе тонешь в болоте общей беды. Дрыщ был вечным плакальщиком, живым барометром посёлка: дождь — он плачет, солнце — плачет, потому что сгореть можно, ветер — плачет, потому что шляпу унесёт, нет ветра — тоже плачет, от счастья, что ветра нет, а вдруг он будет. Красные глаза, вечно мокрый нос, голос с перманентной дрожью. Громыхайло обожал его именно за эту вселенскую печаль. Рядом с Дрыщем его собственные катастрофы — разбитые коленки, сломанные перила, упавшие шкафы — казались смешными, почти пустяковыми. Дрыщ был тем фоном, на котором его хаос выглядел искусством.

Но сегодня Дрыщ шёл по тротуару легко, почти танцующей походкой. Он нёс зелёную лейку, поливал жёлтые бархатцы и... улыбался. Широко, искренне, без единой слезинки. От этой улыбки на лице, привыкшем к вечной гримасе страдания, по спине Громыхайло пробежал холодок.

— Дрыщ! — заорал он, бросаясь вперёд с такой скоростью, что чуть не перелетел через забор. — Стой! Ради всего святого, стой!

Дрыщ остановился и обернулся. Глаза его сияли, лицо было румяным и свежим, будто он только что выспался в спа-салоне. Вместо привычного красного, опухшего носа — ровный, аккуратный, почти аристократичный.

— О, Громыхайло! — пропел он мелодичным, бархатным голосом, без единого всхлипа. — Доброе утро! Как спалось? Ты сегодня какой-то взъерошенный. Случилось что?

Громыхайло схватил его за плечи, встряхнул так, что лейка подпрыгнула. Вода выплеснулась из носика, сверкнула на солнце и упала на землю беззвучно, как тягучее растительное масло, не издав ни единого всплеска.

— Ты! Чего! Улыбаешься?! — выкрикнул он по слогам, заглядывая Дрыщу в глаза, пытаясь найти там хоть намёк на привычную тоску. — Ты должен рыдать! Ты должен плакать так, чтобы у соседей стекла дрожали! Где твой носовой платок, который ты вечно выжимаешь в канализационный люк? Где твои стоны о том, что мир несовершенен?

Дрыщ удивлённо моргнул, но улыбка не погасла.

— Слёзы? — переспросил он так, будто услышал слово на незнакомом языке. — Зачем? Утро чудесное, Громыхайло. Птички поют, солнышко греет, в душе такой порядок. Я даже решил переставить мебель — и ни разу не заплакал.

— В душе?! — Громыхайло затряс его с удвоенной силой, так что зубы Дрыща клацнули друг о друга, но даже этот звук был каким-то приглушённым, вежливым. — Твой дед плакал, когда проиграл в карты дом! Отец плакал, когда родился ты — от ужаса! Ты сам плакал при рождении, на крестинах, в школе, на свадьбе, на разводе! Это твоя природа, Дрыщ! Это твой дар!

Дрыщ мягко, но уверенно высвободился из стальной хватки, поправил воротник рубашки, зачем-то отряхнул невидимую пыль.

— Понимаешь, я подумал... — начал он ровным, безмятежным голосом, — зачем плакать? Это же деструктивно. Я теперь не Дрыщ. Я просто Щ. Сокращение от «Счастливый человек». Кратко, звучно, позитивно. Тебе нравится?

Громыхайло отшатнулся, будто его ударили. В голове разливался фальшивый звон, похожий на звук сломавшегося камертона. Он смотрел на Дрыща — на этого чужого, сияющего человека — и не узнавал его.

— Счастливый... — повторил он, словно пробуя слово на вкус, и оно было горьким. — А помнишь, как мы гонялись за твоей шляпой? Ветром унесло в поле, мы бежали, я споткнулся о корягу и рухнул в сточную канаву, ты за мной, сверху, мы оба в грязи, ты ревёшь, я ругаюсь, потом сидим у меня на кухне, пьём чай с вареньем, и ты смеёшься сквозь слёзы, а я разбиваю кружку, и нам хорошо! Это же было счастье? Настоящее?

Дрыщ задумался, потерев мочку уха.

— Ну... было шумно, — признал он с лёгкой брезгливостью. — И грязно. И неудобно. Но сейчас я за тишину. Она очищает сознание. Ты тоже попробуй, Громыхайло. Успокойся, перестань всё ронять. Станет легче, честное слово.

— Легче?! — выкрикнул Громыхайло так, что на его глазах выступили слёзы отчаяния. — Мне без падений тяжелее, чем тебе без твоего вечного нытья! Я без них — как ты без платка!

Но Дрыщ — или как его теперь, Щ? — уже отвернулся. Он поливал свои бархатцы и негромко, приторно напевал песенку из рекламы стирального порошка. Голос его был ровным, как у диктора на радио.

Громыхайло рванул дальше, не разбирая дороги. Паника внутри разгоралась, шипела, как мокрые дрова, выплёскивая в кровь адреналин. Ему нужно было найти кого-то, кто ещё не сдался. Кто-то, чья природа была слишком сильной, чтобы её можно было так легко отменить.

Он искал Пыхтящего. Местного философа, человека-паровоза, который говорил на выдохе, сотрясая воздух на три метра вокруг. Каждое слово Пыхтящего было мощным, шумным, наполненным одышкой и смыслом. Он не говорил — он выдыхал фразы, как паровозные гудки.

Но когда Громыхайло вылетел на аллею к старому клёну, он увидел Пыхтящего на скамейке. Тот сидел, сложив руки на коленях, и смотрел в небо с выражением абсолютного про-

светления. Грудь его, обычно вздымавшаяся, как кузнечные меха, сейчас дышала так ровно, что можно было принять его за спящего.

— Пыхтящий! — крикнул Громыхайло, подбегая, сбивая дыхание. — Пыхтящий, ты жив?!

Тот медленно, с достоинством, повернул голову. Глаза — ясные, голубые, как у младенца. Ни тени привычной борьбы за воздух.

— Жив, друг мой, — ответил он. Голос был ровным, спокойным, без единого всхлипа, без присвиста, без хрипа. — Дышится чудесно. Просто чудесно.

Громыхайло рухнул рядом на скамейку, тяжело дыша, и уставился на него.

— Ты не пыхтишь! — прошептал он в ужасе. — Ты просто говоришь! Где твой «фух-фух-ха-а-а»? Где твой астматический свист, от которого у Тарахтелки банки дребезжат?

Пыхтящий пожал плечами с лёгкостью танцора.

— Перестал суетиться, друг. Посмотри: клён, облака, тишина. Зачем пыхтеть, если можно просто дышать? Дышать — это так естественно.

— Потому что ты Пыхтящий! — взорвался Громыхайло, вскакивая. — Это твоё имя! Ты получил его в пять лет, когда упал с велосипеда в крапиву и два дня не мог отдышаться! Это твоя история, твоя суть! Ты без пыхтения — просто дядя с одышкой!

Пыхтящий — теперь уже Пётр, как он представился — мягко улыбнулся.

— История — это прошлое, — сказал он тоном школьного учителя. — Я отпустил её. Теперь я просто Пётр. И я дышу свободно.

Громыхайло схватился за голову.

— Пётр?! А кто тогда я? Если ты перестал пыхтеть, Дрыщ перестал плакать, а я — падать, кто мы вообще? Нас больше нет! Мы исчезли!

Пётр положил руку ему на плечо. Прикосновение было лёгким, тёплым.

— Мы просто люди, Громыхайло. Без масок. Разве это плохо?

— Это ужасно! — выкрикнул Громыхайло, сбрасывая его руку. — Маски — это мы! Без них мы пустота!

Он рванул прочь, на бегу задев плечом мусорный бак. Жестяное ведро звякнуло жалко, едва слышно — как камешек, упавший в подушку. Громыхайло даже не обернулся.

Он добежал до дома Тарахтелки, задыхаясь, с колотьём в боку. Старуха была легендой посёлка. Каждое утро она вывозила свою трёхколёсную тележку, набитую бутылками, банками, ржавыми деталями, и грохот от неё был слышен за километр. Плюс её скрипучий, прокуренный голос, проклинаящий всё на свете — от дождя до правительства.

Но сегодня тележка стояла у порога, безмолвная, как памятник. Тарахтелка сидела на крыльце, сложив руки на коленях, и не двигалась. Тележка была доверху набита хламом, но стояла тихо — будто внутри была не посуда, а поролон.

Громыхайло подбежал, схватился за сердце.

— Тарахтелка! — прохрипел он. — Ты почему не гремишь?!

Старуха подняла голову. Глаза её, обычно злые и колючие, сегодня были ясными, мягкими, почти добрыми.

— А зачем, сынок? — спросила она ласково, и от этой ласковости Громыхайло передёрнуло. — Всё уже отгремело. Я своё отгремела. Сижу отдыхаю. И тележка тоже устала.

Он в ярости схватил тележку за ручку и потряхнул изо всех сил. Бутылки внутри покатались, застучали друг о друга, но звон был глухой, приглушённый, будто их завернули в десяток тряпок. Ни одного звонкого «дзынь», ни одного бодрого «блямс».

— Это невозможно! — прошептал он, опуская руки. — Ты — это звук, Тарахтелка! Ты — это грохот, скрежет, мат-перемат! Без тебя посёлок — кладбище!

Тарахтелка покачала головой, седая прядь упала на лоб.

— А может, кладбище — это и есть покой? Посиди со мной, пожуй сухарик. Тишина лечит. Ты не пробовал?

— Тишина убивает! — заорал он, отшвырнул тележку, и она мягко, почти невесомо, приземлилась на газон, не издав ни звука.

Громыхайло стоял посреди застывшей улицы. Всё было на своих местах: дома, заборы, деревья, провода. Но люди на лавочках не ругались, дети не дрались из-за мяча, собаки не лаяли на прохожих. Воздух был стерильным, как в операционной.

Он попытался создать шум. Пнул ногой дощатый забор — доски только вздохнули, не скрипнув. Крикнул в пустоту «А-А-А!» — голос рассыпался в воздухе, как сахар в горячем чае, не встретив сопротивления. Поскользнулся на мокрой траве — но не упал, выпрямился, будто у него внутри стоял гироскоп.

Он сел прямо на землю, посреди дороги, обхватив колени руками. Вокруг не было ни звука.

— Я не могу, — прошептал он одними губами. — Без шума я никто. Я пустой конверт, в котором нет письма.

Он закрыл глаза, и в этой оглушительной, звенящей тишине, внутри его головы, вдруг чётко, как удар колокола, прозвучала мысль: «Шкодница. Она всё это затеяла. Она знает».

Громыхайло вскочил и побежал к старому мосту через реку Зайку. Ветки не хлестали по лицу — они раздвигались, как перед важной персоной. Трава не шуршала под ногами, ветер не свистел в ушах. Затишье стало буквальным. Кладбищенским.

Он выбежал на мост, тяжело дыша, и увидел её.

Шкодница сидела на ржавых перилах, болтая ногами над водой. Она пускала мыльные пузыри из длинной соломки. Пузыри переливались на солнце и лопались беззвучно, как сны.

Громыхайло остановился, согнулся, упёрся руками в колени, пытаясь отдышаться.

— Шкодница... — выдавил он сквозь хрип. — Что ты сделала с миром?

Она медленно, с ленцой, повернула к нему голову. Глаза чёрные, озорные, блестящие, как угольки. На губах — лукавая, полуулыбка.

— Я ничего, Громыхайло. — Она легко, беззвучно прыгнула с перил и подошла почти вплотную, заглядывая ему в глаза снизу вверх. — Это всё ты. Ты перестал падать. А мир, Громыхайло, как эхо: если некому греметь — он замолкает. Ты был главным источником шума в этой деревне. Ты убрал себя — и весь звук ушёл.

Он поднял голову, и в его глазах плескалась ярость, отчаяние, мольба.

— Верни мои падения! — выкрикнул он, и голос его сорвался. — Верни мне мои коленки в ссадинах, мои шишки, мою боль! Я без них — как без рук! Как без ног! Как без головы!

Шкодница наклонила голову, изучая его, как букашку под стеклом. В глазах её промелькнуло что-то странное — то ли жалость, то ли любопытство.

— Не могу, — сказала она. — Я не забирала их. Ты сам их оставил. Но... — она подняла палец, как фокусник перед трюком, — я могу подсказать.

— Что?! — Громыхайло рванулся к ней. — Что подсказать?!

— Вспомни, — сказала Шкодница, и голос её стал тише, проникновеннее. — Вспомни, когда ты упал в первый раз и понял, что это — и есть твоё. Что это — ты. Тогда и поймёшь, как вернуть.

Она легко, как пушинка, хлопнула его ладонью по плечу, развернулась и побежала по мосту. Ноги её не касались досок — она бежала по воздуху, бесшумно, легко, исчезая в тумане, который вдруг сгустился над рекой.

А Громыхайло остался стоять, глядя ей вслед.

Слова её застряли в голове, как заноза.

— Первый раз... — прошептал он, и в ушах зашумело — впервые за сегодня. — Когда я упал в первый раз...

Он закрыл глаза, пытаясь пробиться сквозь пелену лет, и тишина вокруг сгустилась, ожидая.

****Глава 3. Круги по воде****

Громыхайло стоял на мосту, вцепившись в ржавые перила, и смотрел, как туман медленно, с ленцой, заглывает удаляющуюся фигуру Шкодницы. Она пропала бесшумно — только влажный отпечаток ладони остался на металле, быстро высыхающий под утренним солнцем. Ни шороха шагов, ни всплеска воды, ни даже птичьего всполоха. Растворилась, как соль в тёплой воде.

Он перевёл взгляд на реку Зайку. Вода текла внизу вяло, сонно, без привычного весёлого журчания о камни. Раньше Зайка грохотала так, что на том берегу не было слышно даже утреннего мата Тарахтелки, а теперь струилась, будто жидкий кисель, — густо, лениво и абсолютно молча. Громыхайло наклонился, подобрал с доски мелкий камешек и с силой швырнул в воду. Камень булькнул глухо, беззвучно — как старый, больной кот, который пытается кашлянуть, но не может.

— Вспомни первое падение, — передразнил он Шкодницу, скривив губы. — Легко сказать, когда у тебя в памяти — сплошной грохот, как барабанная дробь. Тысяча падений. Первое — в три года с табуретки? Или в пять с лестницы в детском саду? Или когда я...

Он осекся. Он не помнил. Все падения слились в его сознании в один сплошной шум, непрерывный, как гул старого трансформатора. Разве в такой какофонии можно угадать первый удар? Это всё равно что искать в оркестре первую ноту.

— Ну и загадала, — пробормотал он, потирая затылок. — Ладно. Начну с простого. Если я не могу вспомнить свой первый полёт вниз, может, я найду того, кто видел его.

Он развернулся и медленно зашагал обратно в посёлок — не бегом, не в панике, а тяжело, вдумчиво, вглядываясь в каждую деталь, мимо которой раньше проносился на скорости. Может быть, причина его беды спрятана именно в мелочах, которые он привык игнорировать за грохотом собственного существования.

Первым на его пути оказался дом Бульки — приземистый, с покосившимся забором, где жил местный сторож с огромным лохматым псом по кличке Гром. Этот пёс был легендой Затишья: его лай гремел так, что у Тарахтелки стёкла в тележке дребезжали, а у Дрыща слёзы от страха высыхали на полпути. Лай Грома был не просто звуком — он был ритмом посёлка, его утренней трубой, созывающей всех на бой с тишиной.

Но сегодня у калитки было тихо. Гром лежал на крыльце, положив морду на передние лапы, и глядел в пустоту с тоской старого профессора, у которого отобрали кафедру. Когда Громыхайло подошёл, пёс даже ухом не повёл — только лениво скосил один глаз.

— Гром! — позвал он, присаживаясь на корточки. — Гром, дружище! Дай голос! Ну хоть один «гав»! Пожалуйста!

Пёс приоткрыл второй глаз, зевнул — широко, сладко, беззвучно — и снова закрыл. Ни рыка, ни ворчания, ни даже предательского повизгивания.

Громыхайло заглянул ему в глаза, глядя жёсткую шерсть на загривке.

— Ты тоже, да? Также стал приличным? А помнишь, как обляял почтальона Сидорова, и тот от испуга сиганул в канаву? Я бежал следом, испугался твоего лая, споткнулся о его велосипед и рухнул прямо в него. Мы лежали там втроём — ты сверху, я снизу, почтальон в середине — и все орали. А потом хохотали. Это же было весело!

Гром лизнул его руку — мягко, влажно, но без обычного хлюпающего причмокивания. И опять уткнулся носом в лапы, закрыв глаза.

Громыхайло встал, чувствуя, как в груди разливается тягучая, глухая тоска. Даже собаки сдались. Даже те, кто должен был охранять мир от тишины.

Он побрёл дальше, к детской площадке — тому месту, где обычно кипела жизнь, где дети визжали, дрались, падали с качелей, плакали, смеялись и снова дрались. Оттуда всегда доносился такой шум, что Громыхайло казался себе почти тихоней.

Но сегодня на площадке царила мёртвая благодать. Дети сидели в песочнице ровными рядками, как на линейке в пионерском лагере, и молча рисовали палочками на сыром песке. Ни одного толчка, ни одной брошенной горсти песка, ни одного пронзительного вопля.

Громыхайло подбежал к ним, взволнованный, растрёпанный.

— Эй, вы! — крикнул он, размахивая руками. — Вы чего притихли? Вы же дети! Вам по природе положено шуметь! У вас в крови грохот!

Самый маленький, лет пяти, в смешной кепке с помпоном, поднял на него серьёзные, взрослые глаза и сказал голосом учителя истории:

— Мы решили, что шум мешает думать. Мы рисуем круги.

И он ткнул палочкой в песок, где действительно был изображён аккуратный, почти идеальный круг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.